

У ДАРВИНА В ДАУНЕ.

(По поводу столетней годовщины дня его рождения 31 января 1809 г.)

Собираясь в июле 1877 года на Парика в Англию, где бывал уже ранее простым туристом, я хотел на этот раз проникнуть и в ее ученые круги. Для этого я обратился за советом к профессору Jardin des Plantes академику Дегерену. Известному своим трудам в области агрономической химии, но всегда интересовавшемуся физиологией растений. Это был один из немногих французов, в котором я встречал нечто более обычной чисто-внешней и довольно холодной лютости. В обращении его было что-то радужное, прямо дружеское, несмотря на разделивший нас возраст и положение в научной иерархии; он и звал меня обыкновенно *mon jeune ami*. К тому же, как некоторые французы того времени, он был очень расположен к англичанам и бывал не раз в Англии. Он мне сказал что из личного опыта знает, какое значение имеют в Англии рекомендательные письма, и предлагает добыть мне письмо от директора Jardin des Plantes академика Декана, известного своим обширными сведениями по садоводству, к кому-нибудь из выдающихся английских ботаников. Через несколько дней я уже был у Декана и получил от него письмо, адресованное на имя директора всемирно-известного ботанического сада в Кью, под Лондоном, сэра Джозефа Гукера. Увидев на конверте имя самого близкого друга Дарвина, я тут же порешил не отступать ни перед какими препятствиями, пока не увижу Дарвина. Теперь под-

водя полуреконвой игол, я мог бы оправдать в своих глазах эту настойчивость тем, что из этих пятидесяти лет целых сорок пять я верой и правдой служил Дарвину, пропагандируя, защищая и развивая его, но в то время я и сам, конечно, затруднился бы подыскать довод, почему я мог бы добиваться увидеть его, более, чем любой из миллионов его горячих поклонников, рассеянных по лицу земли. Для того, чтобы иметь хоть какой-нибудь осязательный предлог, я отыскал на дне чемодана экземпляр своей книжки «Чарльз Дарвин и его учение», первое издание которой мирно покоилось вот уже пятнадцатый год на складе какого-то петербургского книгопродавца, сообщил ей изысканный вид, на какой-то соборы только парижские переплетчики, снабдил посвящением, в котором, конечно, с полной искренностью свидетельствовал о своем «*profound respect and unbounded admiration*», и пустился в путь.

На следующее утро по приезде в Лондон я был уже в Кью, этом «парадизе» всякого ботаника или просто любителя растений, насчитывающем не сотнями, а десятками тысяч своих дневных посетителей, с сокровищами которого я был уже знаком из прежних поездок в Англию. На этот раз я отправился не в чудный сад или единственные в мире оранжереи, а к директорскому дому, или к тому, что я принял за таковой, т.-е. скромному коттеджу из серого кирпича, с обычными подвальными окнами, тонущему в ползучих цветущих растениях. Я позвонил очень развязно, но, когда дверь отворилась, остодобенел перед самым величественным, какого только приходилось видеть, старым приговорным лакеем в расшитой диврее. На мой уже совсем уверенный вопрос «Дома ли директор?» он, не торопясь, с полным достоинством произнес: «Здесь живет не директор, а ее высочество герцогиня Кумберлендская, тетка ее величества королевы». Но затем, убедившись, вероятно, что перед ним не какой-нибудь нахаг-англичанин, посапавший на покойствие ее высочества, а просто невежественный «*Shabby foreigner*», каких много попадает в соседнем ботаническом саду, милостиво выстучал со мной на серую дорожку и плавным, изысканным движением руки показал мне, как пройти к такому же совершенно коттеджу, занимаемому директором. Здесь меня окликнуло новое разочарование: мне объявили, что сам директор стар и так занят, что не может принимать незнакомцев, и направил меня к его помощнику и, как я потом узнал, зятю, ми-

отеру Тизельтову Дайеру, ныне сэру Уильяму, уезжающему после своего теста поживать директором и за старостством лет в свою очередь выйти в отставку. А сам Гукер процветает, работает, приносит речи, несмотря на свои 92 года! Поэзиямилится с ним мне удалось несколько позже: лет через двадцать, а с год тому назад он любезно прислал мне свою карточку-портрет, где он изображен за рабочим столом, разбрасывая напроможенные перед ним гербарии. Кто учитель, какое наследие культуры вытекает из этой нации на этой нередкой у лучших ее представителей способности в течение каких-нибудь 70-ти лет жить сознательной и производительной умственной жизнью!

Мистер Дайер извинился за своего тестя и сказал, что готов оказать мне всякое содействие для обозрения и работ в саду, но когда я повеял речью о посещении Дарвина, он всхлинул руками и начал мне доказывать совершенную невозможность моей затеи. Он красноречиво обещал мне, что Дарвин постоянно болен, родные тщателью оберегают его от назойливых посетителей, к тому же в Даун нетъзя никакъ поехать, как попросив высадить экипаж на станцию, чего вы, конечно, не будучи знакомы, не можете сделать, и, наконец, он, мистер Дайер, сам просто не решится беспокоить Дарвина проездой принять меня. Но я не унимаюсь; я доказывал, что экипажка мне не нужно, что мы, русские, привыкли к палочничеству, что, наконец, если меня не примут, я, при данных условиях, найду это только весьма естественным. Мало-помалу он начал сдаваться, и помирившись мы на том, что он мне даст письмо, но не к самому Дарвину, а к его младшему сыну Франсису, или Франку, как его все звали тогда,—теперь прощитогоднему председателю британской ассоциации, — и тут, который английский ученый навсегда сохраняет в своем научном формуляре. «Он покажет вам, что возможно; но еще раз предупреждаю вас, что вы потеряете целый день, а Дарвина все же не увидите». В заключение он посоветовал поехать позже, так, чтобы быть в Дауне не раньше трех часов, когда кончается обыкновенно рабочий день Дарвина. С этим письмом в кармане я был вполне спокоен: ничего неделькатного и назойливого в моем поступке уже не было, так как время Дарвина-сына, конечно, не было так драгоценно, чтобы он не мог уделить мне какие-нибудь полчаса.

На другой день поезд увез меня на юг от Лондона, мимо куда-то знаменитого, а теперь приключившегося, банальности

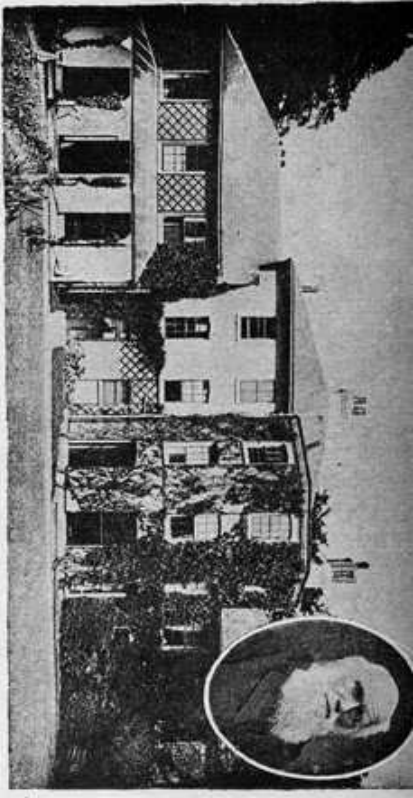
«Кристалльного дворца» Спенсера, мимо ветроголового Уилльберта и вскоре останавливаясь у никому неизвестной станции Орлингтон. Немного прихотила в голову мысль об отпосительности всемирной славы. Местечко, где нашел себе последнее убежище злодей, начавший свою деятельность в крови 2-го декабря и потопивший ее в крови Седана, знакомо по имени всякому, и спроси я любого уличного мальчишку, где живет ех-императрица Евгения, он бы показал мне дорогу; но в Орлингтоне мне и в голову не пришло бы спросить, как пройти к Дарвину. Я спрашивал, конечно, как пройти в Даун, так как никакого экипажа ни на станции, ни в окрестности, действительно, не оказалось¹⁾. Это была моя первая прогулка по глухой английской деревне, так коротко мне знакомой по английским романам. В молодое годы я добывал себе пропитание английскими переводами, и, вероятно, в итоге оказалась бы не одна потонная сажень томов Бульвера, Дикенса, Элиота и других, прошедших через мои руки. Впоследствии я видел действительные красоты английской природы: скалы Landseid'a, которые вечно плочет океан и которые когда-то исходили влодь и поперек могодой Терьер, или оторвательные берега английских озер, где ребенок Рескина, по его словам, в первый раз понял, что такое красота природы, а Дарвин провел свое последнее лето. Но была совершенно своеобразная красота и в этой однообразной, слегка холмистой, плавно волнующейся Кентской равнине с называющимися по ней лентами дорог, окймленных цветущими изюродьями, разбросанными деревеньками, а главное—этими чудными, веками оберегаемыми, привольно раскинувшимися дубами или вязами. В Англии, как известно, не найдешь нашего леса, но можно смело сказать: кто не был в Англии,—не видал леса.

Сначала пришлось идти широким шоссе. Чтобы не сблизиться и не пропустить указанного поворота, приходилось спрашивать то у ворот деревенского кабака, у проезжего возчика, останавливающегося, чтобы наполнить свою лошадь—слона (невольного восточняка) наша несчастная крестьянская клячка), и самому пропустить а tip of bitter, т.-е. словяниную кружку того напитка, о котором все поэтизирующий немец

¹⁾ Это мне напоминает другое наблюдение—в Ньюстед Байрола. На дороге, обращенный к печальному стенин, где бы найти экипаж, он с келюдражским доктором ответил: «I beg you are in the wrong place», т.-е. что-то в роде: «Вы, должно быть, заблудились,—здесь никого и не близко экипажа».

вырастет, что он соединит в себе *des Weines Geist, des Brodes Kraft*. то у мелькавших везе по полю рабочих, так как жатва была в полном разгаре. Наконец, показався и поворот выправ, на более узкую, по-нашему проселочную, но не по-нашему такую же проезжую, т.е. так же хорошо посесированную дорогу, между двух стен изгородей, этих так часто воспеваемых поэтами *hedgetows*. Проездом скоро уперся в парк с легкой кагиткой и красивой сторожкой. Я уже думал, что ошибся поворотом и что придется вернуться. Но тотчас же появившийся сторож, осведомившись, что я направляюсь в Даун, объявил мне, что это и есть единственная дорога в Даун. Если не ошибаюсь, парк этот принадлежит известному любителю-ученому Дёббюку, ныне лорду Эвбюри. Выходя из парка, я уже увидел вдали крыши домов и колокольню мавленской деревенской церкви; это, очевидно, был Даун. Подошёл ближе, и заметил, что деревья или, скорее, местечко расположено с правой стороны, а с левой тянется каменная стена, а за нею сад, если и не с очень старыми, то все же с крупными и разнообразными деревьями. Знаю, что Дарвин состоит чек-то в роде церковного старосты и очень любил всем населением Дауна, я уже смею обратиться к первому встречному с вопросом, как пройти к *мистеру Дарвину*, на что получил несколько удивительный ответ: «к *доктору Дарвину*? А вот это его сад, только к дому нужно обойти кругом». Много раз потом мне приходилось замечать, как англичане, даже простодушные, высоко ценят свои ученые степени. Так, напр., в Брантвуде, у Рёккина, о нем говорили не иначе, как просто «*professor*», не называя имени. Дом со стороны дороги, с примыкавшей к нему кухонной пристройкой и службами, был довольно банального вида, чего нельзя сказать о садовом фасаде, который, благодаря несимметричной пристройке в роде башни, а главное—почти сплошной покрывавшей его сверху до низу зелени вьющихся растений, представлялся уютно-живописным.

На мой звонок, дверь открыл старый лакей, вероятно, тот самый, о котором Франсис Дарвин в своих воспоминаниях говорит: «Мы привыкли видеть в нем члена своей семьи». Он посмотрел на меня удивленно-удивленно: удивленно, — потому что я принел пенюк, удивленно, — потому что, как и всё в семье, боялся вторжения чужого; но значительно смущился, когда я сказал, что желаю видеть только «*министра Франсиса*», и подождал. Через минуту появился и мистер



1

1809
1909



2

1859
1909

C1 Darwin 1859-1872



3

ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ
ДАРВИНА И ЕГО ТЕОРИИ.

Франсис, с виду совсем юноша, несмотря на то, что ему было уже под гридцать, так как теперь ему уже шестьдесят. Он провел меня в гостиную, предупредив также, в свою очередь, что мне едва ли удастся увидеть отца, которого разговор со всяким посторонним очень волнует, чего при его слабом здоровье следует во что бы то ни стало избегать. Я поспешил согласиться и передал ему свою книгу, собираясь уходить, но он задержал меня, говоря, что попросит выйти ко мне свою мать, которая, конечно, пожелает со мной познакомиться. Я воспользовался его отсутствием, чтобы оглядеть комнату. Обычная parlour скромного английского дома, с камином у задней стены,—этим действительным «семейным очагом», вокруг которого группировались места обычных обитателей, с покойным креслом самого Дарвина и другим поменьше, с рабочим столиком, очевидно, излюбленным местом мистрисс Дарвин. Вдоль стен и по углам—несколько «этаблисментов», в противоположной камину стене—два окна с дверью посредине. У левого окна, отступя и вкось,—небольшой письменный стол на кривых ножках, со всякими безделушками, очевидно, также дамский, мистрисс Дарвин. Во всем—простота и уютность английского home. Дверь выходила в сад без одной ступеньки, даже без порога,—de plain pied, как говорят французы,—прямо на площадку, усыпанную, как в большей части европейских садов, непривычными нам мелкими гальками, очень неудобными для тонкой обуви, но зато обеспечивающими от столь обычных на наших дорожках слякоти и грязи. Во всю ширину гостиной тянулся легкий навес на столбах, образуя то, что на языке обитателей звалось «верандой», а под ним разбросаны жардиньерки с цветами и легкая садовая мебель, в том числе известное по многочисленным фотографиям плетеное кресло Дарвина с высокой спинкой.

Вскоре появилась вместе с сыном и мистрисс Дарвин, приветливая старушка, без тени какой-нибудь чопорности или желания показать свою светскость и умение принимать гостей, а с той простотой и непринужденностью обращения, которая дается только привычкой к действительно образованному и воспитанному обществу¹⁾. Ни в тоне, ни в предмете разговора не было ничего, что бы имело хоть тень провинциализма или отвычки встречаться с совершенно чужими

¹⁾ Мистрисс Дарвин была внучкой известного Веджвуда, основателя фарфорового завода Эрури, прелестные произведения которого на подобие античных камней, выполнявшиеся по рисункам известного Флаксмана, так ценятся знатоками.

людям. К слову сказать, я никогда не замечал различия между лондонцем и провинциалом, тогда как между парижанином и провинциалом его нередко подметить, а типичный берлинец—самый провинциальный из немцев. К сожалению, весь полупроцентный мисьяк, увы! ни я Дарвин, я недостойно обрели на нее внимания, и только трогательные, глубоко прочувствованные строки сына в его воспоминаниях об отце, дали мне понять, как много человечество обязано этой скромной, неприглядной жемчине, совершеннейшей, никем незамеченной, свое великое чудо любви: неустанным, ежедневным, ежечасным и работами она дала возможность, не знаяшему почти ни одного дня полного здоровья, уже тридцать лет тому назад отчаявшемуся в своем существовании, мужу довести до конца его неизмеримый, почти сверхчеловеческий труд.

Через несколько минут совершенно неожиданно вошел в комнату Дарвин. Мне уже приходилось говорить о первом впечатлении, которое произвело на меня его появление ¹⁾. Дело в том, что в то время еще не были известны теперь так широко распространённые, всем знакомые его портреты, с длинной, седой бородой. Известен был только один его портрет, приложенный к немецкому переводу «Происхождения видов» (и в моей книжке «Чарльз Дарвин и пр.»). На этом портрете, относящемся к началу пятидесятых годов, он был изображен лет сорока, тщательно выбритым и с коротко подстриженным бакенбардами, а так как портрет был к тому же похвальной, то воображение почему-то дополнило его фигурой коротенького толстяка, в котором можно было признать коммерческого дельца, пожалуй, спортсмена,—кого угодно, но менее всего глубокого, гениального мыслителя. А передо мной стоял величайший старик, с большой седой бородой, с глубоко впадыми глазами, спокойный, ласковый взгляд которых засвидетельствует об ученом, выдвигаем вперед человека. ²⁾ Словом, само собой напрашивалось то сравнение с древ-

1) «Дарвин, как тип ученого». Чарльз Дарвин и его учение.

2) Долго вспоминаю на Дарвина в Лондон, я случайно нашел фотографии и писем отчасти любознательной мучил Дарвина, Д. С. Манга, Олсена, Роксана и друг к себе обилие английских писателей (Лавина и Киплеса). Мне так и не удалось написать, была ли когда-нибудь такая история, для портрета некогда оживившаяся художником; все участвующие накоминуют свои «гипотезы» поручая, а Дарвин в «верной» раз изображен в том виде, в каком он пореша в источнике.

ним мудрецом или ветхозаветным патриархом, которое я тогда и высказал и которое потом так часто повторялось.

Не припомню с чего началась разговор, помню только, что начал его он, и мне ни на минуту не пришлось испытать невыносимого положения человека, вынужденного обяснять или оправдывать свой невольный поступок,—вотжение в дом великого человека, неутомимого труженика, говорившего себе *diem perdidit*, когда он не выполнил намеченного труда, и упрежденного в свой глухой угол для того именно, чтобы ограждать себя от таких назойливых посетителей, отнимающих у него не только время, но и здоровье, кагким являлся в эту минуту я. Знал только, что через несколько минут передо мной был бесконечно добрый, ласковый старик, с которым в разговоре я, будто знал его с давних пор. Но это не было благодушное спокойствие старика, который «все в жизни совершил» и, устранившись от мирской суеты, снисходительно и сыско-на взирал на чужую молодость. В том, что он говорил, не было ничего старчески-седого, поучающего,—напротив, вся речь сохраняла бодрый, боевой характер, пересыщенная шутками, меткой иронией и касалась живо интересовавших его вопросов науки и жизни. Не было в назидательных беседах «Ненных, даже в среде образованных европейцев, распросто: «Не правда ли, у вас в России очень холодно и... и очень много медадей?» Только на вопрос жёны: «Чего вам предложить, чай или кофе?» он поспешно ответил за меня: «Конечно, кофе. Разве русскому можно предлагать нашего чая», Докладывал тем, что до него дошел наш ходячий русский предрасудок, будто в Европе нет такого чая, как в России,—предрасудок, в доброе старое время повывинился тем, что «чай моря не любить», а теперь уже неизвестно чем.

Зато когда разговор наш перешел на серьезные, научные темы, он тотчас принял чисто-английский характер. Узнав, что я занимаюсь физиологией растений, он сразу озарила меня вопросом: «Вы, конечно, почувствовали себя очень странно, очутившись в стране, в которой не нашли ни одного ботаника-физиолога?» Только истый англичанин, тордо со-знающий все достоинства своей нации, может так откровенно, так безопицандо говорить и об ее недостатках, зная, что это—единственное средство от них избавиться. И, конечно, не мог не сожалеться, но с оговоркой: «Действительно, но на-шел... за исключением одного,—величайшего всех веков и

народов». Из этого вопроса и последующего разговора я узнал, что Дарвин не только через много лет узнал с достоверностью, что попал в Даун в очень благоприятный момент. Известно, что после появления «Происхождения видов» и других сочинений, представлявших только развитие частных сторон теории, Дарвин сосредоточился исключительно на ботанике, и ботанике экспериментальной, физиологической; все эти специальные работы должны были показать плодотворность его теории, как «работы гипотезы». В это время он, вместе с Фраэнком, был уже занят своим исследованием, составившим содержание целого томка: «О способности растений к движению».

Гу-то он и должен был, очевидно, натолкнуться на факт, что английская наука, давшая, — не говоря уже о других областях, — столько выдающихся деятелей и в смежной описательной ботанике, и в физиологии животных, не выдвинула вперед за последнее столетие ни одного ботаника-физиолога, даже не имела ни одной лаборатории, снабженной всем необходимым для такого рода исследований. Но узнал я это о достоверности чуть не тридцать лет спустя, прочтя его письмо к мистеру Дайеру, написанное чрез несколько месяцев после моего посещения и которое не могу себе отказать в удивительной зрелости привести. «Я глубоко убежден», — писал Дарвин мистеру Дайеру по поводу организации в Кью лаборатории по физиологии растений для желающих предпринять подобные исследования, — «я глубоко убежден, что было бы в высшей степени жалко, если бы физиологическая лаборатория, уже отстроенная, не была снабжена самыми лучшими инструментами. Может случиться, что многие из них устарели, прежде чем понадобятся. Но это — не аргумент против их приобретения, потому что лаборатория без инструментов ни на что не нужна, а самый факт, что имеются инструменты, может повести на мысль или воспользоваться. Вы в Кью, как блистатели и распространители ботанической науки, по крайней мере, исполните свой долг, и если вашей лабораторией не воспользуются, позор ляжет на голову нашего образованного общества. Но пока торжкий опыт не научит меня обратному, я не поверю, чтобы мы так отстали. Я думаю, немецкие лаборатории могли бы послужить нам примером, но Тимпьяев из Москвы, изъездивший всю Европу, перебивавший во всех лабораториях и показавшийся мне таким хорошим малым (so good a fellow), мог бы составить нам лучший список самых необходимых инструментов¹⁾». Как будто угадав занимавший его в эту минуту вопрос, я с полным убеждением стал утешать его на тему «людий нет — перед людьми», изречение, если не всегда оправдывавшееся в отечестве великого сатирика, то, несомненно, верное в отечестве великого ученого. Излишне говорить, что наши общие ожидания не замедлили исполниться, и Дарвиновская лаборатория в Кью, — крохотный домик, который поместился бы в любой большой комнате наших институтов, сделался центром, из которого вышел целый ряд исследований, уже ставших классическими. От физиологии растений, разговор перешел к моим работам²⁾ и, узнав, что я занимаюсь специально хлорофиллом, он, не задумываясь ни минуты, высказал те слова, которые мне приходилось не раз повторять, прямо торжательные в устах человека, столышего совершенно в стороне от химических и физических вопросов: «Хлорофилл, это, по-жалуй, — самое интересное из органических веществ». Любопытно, что последняя его заметка, посвященная за несколько дней до его смерти, касалась именно хлорофилла. Затем он стал меня расспрашивать, что кроме Кью интересует меня в Англии собственно с ботанической точки зрения. Я ответил, что завтра уже собираюсь в Ротгамстад³⁾, и указал на тот интерес, который представляю, с точки зрения учения о «борьбе за существование», любопытные, проявившиеся в то время опыта над пчеленемом соевого дуговой флоры под влиянием искусственных удобрений. Пока я говорил, он делал какие-то знаки сыну и, когда я кончил, проговорил в тоне укоризны: «Вот видишь, человек пренекал чуть ли не о края света и завтра побывает в Ротгамстаде, а мы все собираемся». И опять, только много лет спустя, когда повяжется первый сборник писем⁴⁾, я узнал, что Дарвин замыслил в это время обширный ряд опытов над искусственными культурами, как средством изменять формы, и вернулся по этому поводу в переписку с известным ротгамстадским химиком Гильбертом. Около этого же времени он с замечательной пронапастельностью задумал свои опыты над искусственным получением растительных наростов (фернильных орешков и

ний список самых необходимых инструментов¹⁾». Как будто угадав занимавший его в эту минуту вопрос, я с полным убеждением стал утешать его на тему «людий нет — перед людьми», изречение, если не всегда оправдывавшееся в отечестве великого сатирика, то, несомненно, верное в отечестве великого ученого. Излишне говорить, что наши общие ожидания не замедлили исполниться, и Дарвиновская лаборатория в Кью, — крохотный домик, который поместился бы в любой большой комнате наших институтов, сделался центром, из которого вышел целый ряд исследований, уже ставших классическими. От физиологии растений, разговор перешел к моим работам²⁾ и, узнав, что я занимаюсь специально хлорофиллом, он, не задумываясь ни минуты, высказал те слова, которые мне приходилось не раз повторять, прямо торжательные в устах человека, столышего совершенно в стороне от химических и физических вопросов: «Хлорофилл, это, по-жалуй, — самое интересное из органических веществ». Любопытно, что последняя его заметка, посвященная за несколько дней до его смерти, касалась именно хлорофилла. Затем он стал меня расспрашивать, что кроме Кью интересует меня в Англии собственно с ботанической точки зрения. Я ответил, что завтра уже собираюсь в Ротгамстад³⁾, и указал на тот интерес, который представляю, с точки зрения учения о «борьбе за существование», любопытные, проявившиеся в то время опыта над пчеленемом соевого дуговой флоры под влиянием искусственных удобрений. Пока я говорил, он делал какие-то знаки сыну и, когда я кончил, проговорил в тоне укоризны: «Вот видишь, человек пренекал чуть ли не о края света и завтра побывает в Ротгамстаде, а мы все собираемся». И опять, только много лет спустя, когда повяжется первый сборник писем⁴⁾, я узнал, что Дарвин замыслил в это время обширный ряд опытов над искусственными культурами, как средством изменять формы, и вернулся по этому поводу в переписку с известным ротгамстадским химиком Гильбертом. Около этого же времени он с замечательной пронапастельностью задумал свои опыты над искусственным получением растительных наростов (фернильных орешков и

¹⁾ More letters of Charles Darwin, 1903, vol. II, p. 417.

²⁾ Вместе со своей женой я порешил ему отнестись к ней работам, только что представленной Вешперюком в парламентскую палату.

³⁾ Известная агрономическая описательная станция, по традиции порая в Бароде.

⁴⁾ Life and letters, 1887.

пр.), так же, как орудием экспериментального изучения законов изменчивости. За 30 лет, прошедших с тех пор, вопрос этот не поднимался ни на шаг! Указываю на это, как на доказательство того, что мысль Дарвина постоянно ¹⁾, а в последние годы в особенности, обрабатывалась в сторону этой новой области науки, если не составляющей необходимой составной части «дарвинизма», то представляющей ее, как я это неоднократно указывал, его естественное продолжение.

От ботаники вопрос перешел к науке вообще. С особым ным удовольствием отметил Дарвин факт, что в русских молодых ученых нашел жарких сторонников своего учения, чаще всего оставаясь на имени Ковалевского, и когда я его спросил, которого из братьев он имеет в виду, — вероятно, Александра, эволюта. — он мне ответил: «Нет, казните, по моему мнению, палеонтологические работы Вальдемира имеют еще более значения». Привожу эти слова, потому что не случайно Вальдемиру Онуфриевичу не пришлось быть «пророком в отечестве своем». Если не ошибаюсь, отечественные эволюционеры ухитрились его срезать на казистерском экзамене именно из той палеонтологической, в которой он уже пользовался всемирной известностью. Среди этого разговора Дарвин вынул озадачил меня неожиданным вопросом: «Скажите, почему это немецкие ученые так ссорятся между собою?» — «Вам это лучше знать», — был мой ответ. — «Как мне? Я никогда не бываю в Германии». — «Да, но это — только новое подтверждение вашей теории: должно быть, их разведось слишком много. Это типичный пример борьбы за существование». Он на минуту задумался, а потом взглянул самым добродушным смехом. Наконец, разговор перешел на ту тему, на которую я ждал давно его перевести, на то, чем он сам был в эту минуту занят, и он предложил мне прогуляться с ним в тепличку, где он производил новые опыты над насекомоядными растениями. Несмотря на то, что стояла июльская жара (хотя день был серенький) и теплица была в двух шагах, работами жены и сына, откудова-то моментально явились тот короткий плащ и мягкая войлочная шляпа, которые теперь так знакомы по фотографиям. Перед верандой растелилась довольно большая дужайка с тем английским газоном, подстриженным, как бархат и, несмотря на то или, вернее, благодаря тому, не боится, чтобы по нему ходили, чтобы да нем без

¹⁾ Начиная со знаменитой странички его записной книжки, 1857.

отсечения располагались сидеть или лежать. Клубок цветов не представляли ничего особенного. Тепличка была в противоположном правом углу сада. — маленькая, какую мог бы себе позволить любой наш помещик для своих горючаний и парадоний, но стройная, светлая, благодаря легкому железу, пому остову и чисто, словно в Голландии, промглым стеклам. Только позднее, все на тех же писем, я узнал, как долго он колебался, прежде чем позволит себе эту роскошь, а в сущности необходимое пособие для его работ, как радовался, когда она была, наконец, готова и стала проходить транспортные обычные цветов, а исключительно «ботанические», как выражаются наши садовники, растений из Кью и из лучших садовых заведений этой страны знаменитых садоводов. Уход за растениями был, как известно, первой страстью Дарвина. Самый ранний, детский портрет изображает его с горничком цветов в руках. На пороге теплички нас встретил старик-садовник, тот самый, предельный отстав которого о Дарвине недавно припомнил Девбок ¹⁾: «Хороший старик господин, только вот что жалко: не может себе найти путного занятия. Посудите сами: по несколько минут стоит, уставившись на какой-нибудь цветок. Ну, стал бы это делать человек, у которого есть какое-нибудь серьезное занятие?»

В это время Дарвин был занят ответом на сделанное ему возражение, что он не доказал пользы, которую вытекают насекомоядные из животной пищи, и что этот процесс — вовсе не питание, а питание под влиянием бактерий. Я увидел целый ряд подоконков с дерновинами россыпью; кактисы из них были разторожены жестяной пластиной на две половинки; листья одной полгучали мясо, листья другой оставались без мясной пищи, и можно было ясно видеть, что первые растения были гораздо крупнее вторых.

Показывая своих питомцев, Дарвин самым миролюбивым тоном, как бы оправдываясь и записываясь, обращал мое внимание на то, что «он, кажется, не ошибается», что результаты опыта говорят в его пользу, а между тем мы теперь знаем из очерка его сына, что ни одно из сделанных ему возражений не разображало его так, как это ²⁾.

Когда мы вернулись домой, подошел кофе, и беседа приняла более общий характер. Известно, что вторую половину

¹⁾ На вквильном введении Имперского Общества в прошлом году.

²⁾ Оно было сделано Вальдемиром, на основании опыта, несоответственности которых была потом доказана.

дня Дарвин вынужден был уделить отдыху, и в это время жена читала ему вслух, по большей части романы, как он сам признавался, особенно высокого качества, лишь бы они оканчивались счастливо. Но порой делалось исключение в пользу чего-нибудь более серьезного. На этот раз волею нею на столе лежала известная книга Макензи Уоллеса о России. Должно заметить, что, несмотря на пятнадцатилетний срок, прошедших со времени освобождения крестьян, многие в Европе еще не могли забыть этой мирной революции освобождения 20-ти миллионов, да еще с землей,—особенно, когда пришлось сравнить его с последовавшим позднее только после кровопролитнейшей борьбы освобождением негров в Америке. Дарвин во время своего кругосветного плавания научился всей душой ненавидеть рабство, и это подавало ему повод (да и ему ли одному?) видеть будущее русского народа в самом розовом свете. Другой вопрос, который его интересовал,—начинался ли процесс пробиваться в России свобода мысли. «Общество, в котором так широко распространены такие книги, как «История цивилизации» Бюкля (факт также, вероятно, замечено Ванниль у Макензи Уоллеса), где свободно читают книги Лайбля и его (Дарвина) «Происхождение человека»,—говорит он,—уже не может вернуться к традиционным воззрениям на коренные вопросы науки и жизни».

Незаметно пролетели часа два или более, и хотя я и не заметил следов утомления в его голосе, он поднимается, чтобы распрощаться, обещав мне, что всякий разговор с кем-нибудь, кроме самых близких, его как-то возбуждает и утомляет, отряхнув даже на сне, так что он и теперь не уверен, сойдет ли ему безнаказанно сегоднешний день. «Вы, конечно, можете иметь мой портрет, более схожий, чем тот, который приложен к вашей книжке?»—сказал он, подходя к столу жены и достав свою фотографическую карточку, очевидно, домашнего изделия, тут же подписал ее, пометив 25-го июля 1877 г. ¹⁾ Еще раз простившись, он ушел, чтобы приехать отдохнуть, но вскоре, к общему удивлению, снова вошел в комнату со словами: «Я вернулся, чтобы сказать вам два слова. В эту минуту вы встретите в этой стране много таких людей ²⁾, которые только и думают о том, чтобы водить

Англию в войну с Россией, но будьте уверены, что в этом доме симпатии на вашей стороне, и мы каждое утро берем в руки газеты, с желанием прочесть известие о ваших новых победах».

Эти слова можно оценить только в их исторической перспективе. А для этого надо сделать маленькое отступление на тему об английских либералах и русских патриотах. Нужно припомнить, что незадолго перед тем пало либеральное министерство Гладстона, и дальновидные истинно-русские патриоты, с Катковым во главе, приветствовали появление у власти консервативного министерства, в уверенности, что оно отнесется сочувственно к уже ясно выступившему на путь реакции русскому правительству. Помнится, в *Московских Ведомостях* не стеснялись называть «вещих тамолл» того, кто весь свет уже прозвал «великим стариком». Но в этом вещих тамолл! проснулся прежний дед,—тот Гладстон, который когда-то выступил со своим обличением против «короля бомбы», расстреливавшего свои города, повешенного в отряды тигельных торьмах людей, которым Неполь позднее воздвиг памятники на своих площадях,—и этим обличением сумел привлечь симпатии всей Европы на сторону итальянского народа, борвшегося за свое освобождение. На этот раз боевым кличем Гладстона были «боггарские ужасы». Он призвал английский народ забыть свое вековую подпорительность к русскому правительству и протянуть руку русскому народу, готовому прятти на помощь угнетаемым. Движение приняло необычайные размеры в Англии, но либеральное сердце Каткова консерваторы оставили у власти. Остальное хорошо известно. Дивражали голланд Россия в никем не подержанное единообразие, а затем в согласии с «честным маклером» (другим именем Каткова) сумел вырвать у победителей догаданные ценой таких жертв плоды победы. Слова Дарвина означали только то, что он стоял на стороне «великого старика», а не его торжествующих противников ¹⁾. Отсюда вполне можно видеть, что в стране, на которой мысль охотно отбрасывает всякий раз, когда говорится, «за человека становится страшно»,—что в этой стране сочувствие ее величайшего мыслителя, как и ее величайшего государственного человека, в годину испытаний, было на стороне русского народа. Двой-

¹⁾ Портрет тот, по сходству один из лучших, приложен при моей книжке «Основные черты истории развития биохимии», 1908 г.

²⁾ Он так и сказал, foolish. В первоначальной своей версии я считал, что были слова, но теперь, через тридцать лет, можно было сказать их в подлинном виде.

¹⁾ Известно, что на предложенный ему Гладстоном вопросный лист в графе: «Какой вы политический партии?» он ответил: «Либерал или радикал».

не отчаянно вспомнить об этом в наступившую минуту, когда вновь возникает надежда на епенте cordiale двух народов, в эту минуту, когда русский народ не мечтает уже об освобождении других народов,—до того ли ему!—а сам судорожно бьется, отстаивая свое право на простое человеческое существование¹⁾.

Приведенные слова были последние, которые я слышал от Чарльза Дарвина. Когда он ушел, мистер Франкис предложил мне пойти посмотреть его кабинет. Благодаря фотографу, она теперь также хорошо известна—эта маленькая комната с обитым каминком, самым простым письменным столом посредине и небольшой кушеткой, которой пользовался неутомимый труженик, когда его одолевал немалый вейрут. Поминки в этом кабинете только почти полное отсутствие того, что мы привыкли связывать с понятием о библиотеке. Известно, что отношение Дарвина к книгам было очень своеобразное. Если кто мог его искренно презирать, то, конечно, библиофилы или, вернее, библиоманы, которые пенят книгу, как вещь, не позволяя себе разрезать какое-нибудь старинное издание, чтобы не нарушать его энциклопедической ценности, или снабжая драгоценными крышками какую-нибудь книжонку самого ничтожного содержания. Дарвин пенит в книге только то, что ему в ней было нужно, и потому нередко вырывал необходимые ему листы и страницы, забывая таким образом загромождать своего стола и компаты. Еще более скрупулной оказалась комната в верхнем этаже, которую, кажется, занимал сам Франкис и где в то же время помещалось подобие лаборатории для производства опытов по начатому уже Дарвином в то время новому и последнему большому труду «*О способности растений к движению*».

Пора было подумать об отлучении. Отказавшись наотрез от любезно предложенного экипажа, я пустился в обратный путь. Часть дороги проводил меня мистер Франкис. Но вскоре нас окружили с восторгами и завзятельным смехом веселый рой молодых людей и юных мисс. Дарвин меня с ними терезнакомил. Это были «the Libbrocks» (и их гости?), выяснившие, поинтересовавшись, как приходилось читать в письмах Дарвина, нотку беззаботного веселья в серьезную жизнь даунских отшельников. Мне часто потом вспоминалась эта встре-

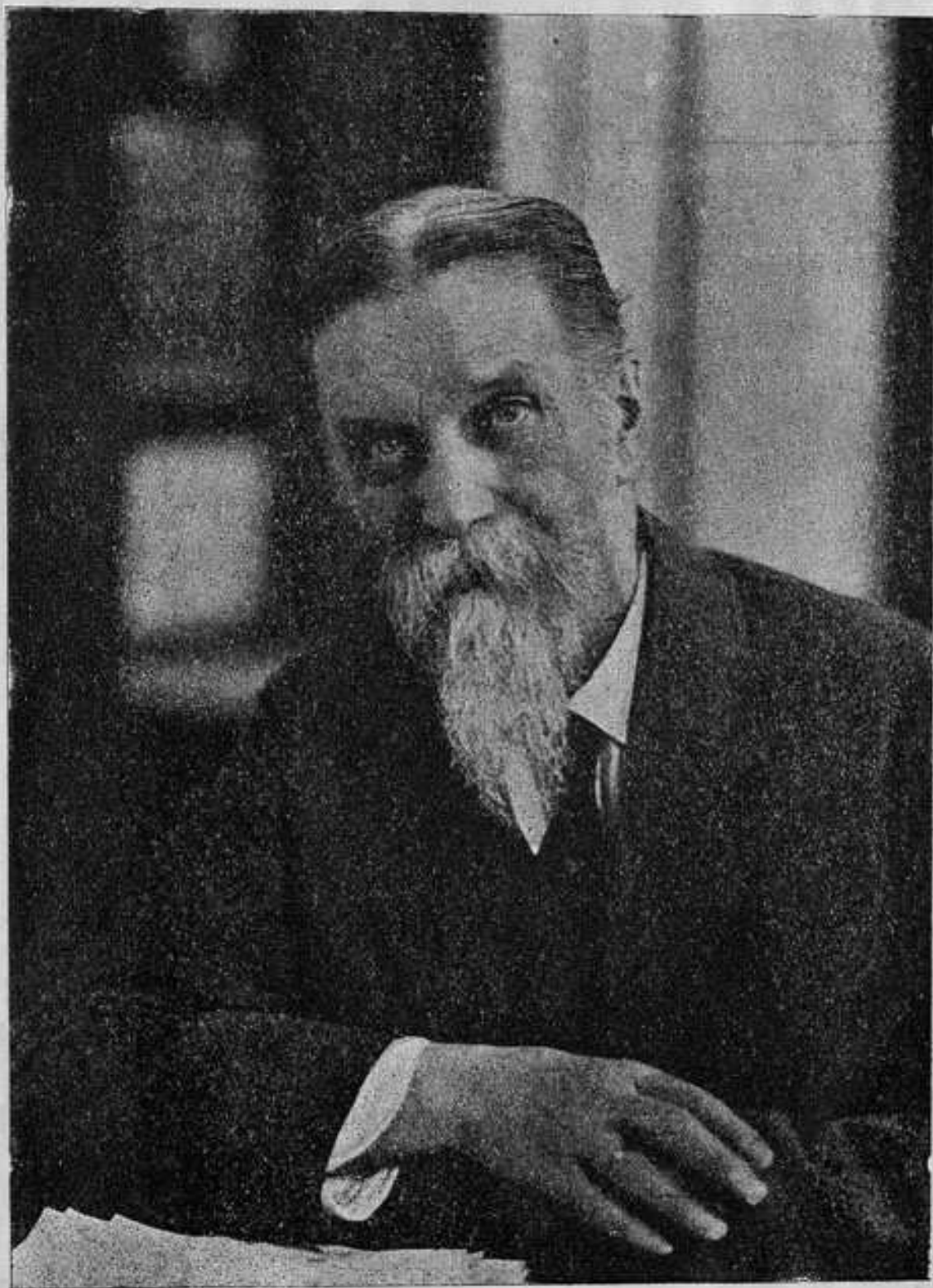
¹⁾ Слова мои относятся к 1909 году. Теперь (1918) именно, глядя на правильное падение правящей части английского народа, «становится страшно за человека».

ча на глухом английском проселке. Эта бодрая, жизнерадостная английская молодежь, веселившаяся на деревенском просторе, конечно, менее, чем кто другой, нуждалась в набожности о «Радостях жизни» и «Красотах природы»¹⁾.

Не желая отвлекать молодого Франкиса от веселой компании, я поспешил с ним проститься и прибавил шагу, чтобы захватить свой поезд. По холоду обратный путь показались гораздо короче.

Вернувшись в Лондон, несмотря на поздний час, я не мог утерпеть, чтобы не поделиться свежими впечатлениями с Д. Н. Анучиным, в то время находившимся тоже в Лондоне. Дмитрий Николаевич обрушился на меня целым потоком вопросов, за то, что я, будто бы, утвдил от него свое пагубное чувство, лишил его единственного случая, который, конечно, не повторится, и т. д., и т. д. Помнится, в свое оправдание я говорил, что шел на верную неудачу, что весьма естественно мог не желать, чтобы мне захлопнули на нос дверь при свете геле и что во всяком случае я неповиновен в том, что величайший ученый оказался в то же время и самым приветливым из людей.

¹⁾ Заглавия названных переизданных и на русский язык, книг Дебока, на территории которого мы в эту минуту находимся.



K. Munnings